

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ГЕСПЕРИД

В каюте было темно, ощущалась небольшая качка, пол слегка подрагивал, как при легком землетрясении. В глазах рябило от игры света и линий. Вспыхивая и мигая, рассыпались серебристые точки и, падая, как бы на ощупь, опять находили друг друга, собираясь в морскую волну. Радужные светящиеся круги растягивались в воздухе и меркли, затухая и внезапно исчезая, подобно зеленым молниям, проглоченным тьмой, чтобы тут же взметнуться вновь светящимся фейерверком. Волны катили и катили, равномерно сменяя друг друга. Они складывались в узоры, то четкие и ясные в своем рисунке, то путанные и размытые, когда гребень и впадина сходились, сливаясь воедино. Движение воды и света непрерывно рождало все новые и новые формы.

Одни фигуры сменяли другие, как будто по морю то скатывали, то раскатывали огромный ковер. Постоянно изменяясь и никогда не повторяясь, они все же были схожи в одном, напоминая шифр, открывающий таинственные кладовые, и, как мелодия увертюры, все время варьировались в своей загадочной игре, убаюкивая и усыпляя чувства. Легкий шум пенящихся валов словно отбивал такт, вызывая в памяти грохот далекого прибоя и ритм волн, разбивающихся с шипением о скалистые берега. Блестела

рыбья чешуя, чайки крылом прорезали соленый воздух, сжимали и разжимали свой зонтик медузы, колыхались на ветру веера кокосовых пальм. Жемчужные раковины открывались навстречу свету. В пучинах морских вод струились, извиваясь, коричневые и зеленые водоросли, шевелились пурпурные гривы конских актиний. Мелкий зернистый песок курился струйками на дюнах.

Наконец разрозненные впечатления сложились в стройную картину: по морской поверхности медленно скользило парусное судно. Это был клипер с зелеными парусами, только опрокинутый и стоявший на воде на мачтах, и волны барашками, словно облака, пенились вокруг кия. Луций следил взглядом за его плавным скольжением. Он любил эти четверть часа искусственной темноты, продлевавшей ночь. Еще ребенком лежал он так у себя в детской, с плотно завешенными окнами. Родителям и его воспитателям это не нравилось; они хотели привить ему жизнедеятельный дух родовых замков, где по утрам раздавались звуки трубы, возвещаая подъем. Но на поверку оказалось, что склонность к замкнутости и мечтательности не повредила ему. Он был одним из тех, кто поздно встает, но неизменно является вовремя. Работа всегда давалась ему чуть легче и протекала с наименьшими затратами, словно он действовал вблизи центра, где путь пробега куда короче. Склонность к уединению, молчаливому вниманию и созерцанию в глуши ли лесов, на берегу ли моря, на горных вершинах или под южными небесами, доставшаяся ему по наследству, скорее придавала ему особые силы, хотя и навевала отчасти меланхолию. Так длилось до середины жизненного пути, до его сорокалетия.

Зеленый парусник исчез из поля зрения, зато появился, и тоже в перевернутом виде, красный танкер — устаревшая модель с островов. Они приближались к гавани, суда попадались все чаще. Иллюминатор проглатывал их, как щель в камере-обскуре, заставляя переворачиваться. Луций наслаждался этой картиной, словно находился в кунсткамере, где наблюдал, забавляясь, движущуюся модель космоса. Вода в бассейне энерггона была подогретой. Планктон в нем был еще жив, и его свечение лишь увеличивало степень подогрева. Всплески воды вспыхивали бликами, ударяясь о кафельную стенку; казалось, и само тело погрузилось в мягкий свет, покрылось фосфоресцирующей патиной. Суставы на сгибах, складки и контуры тела были словно очерчены серебряным грифелем; волосы под мышками светились, как зеленый мох. Время от времени Луций шевелил конечностями, вспыхивающими от этого только сильнее. Он смотрел на ногти на руках и ногах, как бы зарождавшиеся у него на глазах, словно в чреве матери, видел сплетения кровеносных сосудов, герб на кольце на пальце левой руки.

Наконец сигнал рожка возвестил о приготовлениях к завтраку. Луций стал подниматься — нежный слабый свет побежал по стенкам. Вот показалась узкая душевая кабина, раковина для умывания, встроенная в туалетный фарфоровый столик. Кожа сильно покраснела от морской соли; он смыл ее с себя под душем с пресной водой. Потом облачился в махровый халат и подошел к туалетному столику.

Фонофор лежал под предметами, распакованными из несессера. Луций взял его в руку и покрутил

большим пальцем колесико постоянных контактов. Тут же из углубления в маленьком приборе, как из ракушки, раздался голос:

— Костар на связи. Жду ваших приказаний.

Затем последовало донесение, как то предписывает морской устав во время хода корабля: долгота и широта, скорость, температура воздуха и воды.

— Хорошо, Костар. Мундир готов?

— Да, командор, я жду вас в каюте рядом.

Луций набрал еще одну цифру, и раздался другой, более звонкий голос:

— Марио на связи. Слушаю вас, командор.

— Buon giorno¹, Марио. Машина на ходу?

— Машина в порядке, отлично отремонтирована.

— Ждите меня в половине одиннадцатого на набережной, корабль прибудет без опозданий.

— Есть, командор. Поговаривают, в городе беспорядки. Войска полиции подняты по тревоге.

— А когда в этом городе нет беспорядков? Следуйте только по Корсо и вызовите охрану.

Луций нанес на лицо белую мыльную пену и прибавил света. Потом включил бритву, и тонкая сеточка из изогнутых лезвий зажужжала по его щекам и подбородку. Как всегда во время бритья, на него нахлынули приятные воспоминания. Он вдруг увидел мысленным взором белых аммонитов в красной каменной кладке и ощутил вековую надежность замшелых стен замка. Вспомнил он и о прогулках со своим учителем Нигромонтаном вдоль берега, и о цветах, сменявшихся в черед

¹ Добрый день (*ит.*).

мен года. За каждым поворотом дороги красный замок, удаляясь, появлялся в новом ракурсе. Вот где нужно было оставаться — зачем только покидают такие места?

Раздался второй сигнал рожка — гости начали рассаживаться. Луций запаздывал. Он открыл дверь в каюту, где Костар разложил на койке одежду для него. Луций стал одеваться. Костар подал ему сначала белье из светло-зеленого шелка. Потом мундир, тот был чуть темнее, серебристо-матовый, цвета вереска, отороченный по краям узеньким золоченым шнуром. Это была традиционная военная форма кавалерийских отрядов горных стрелков, которую Луций с недавних пор надел вновь, по прошествии долгих лет, отданных изучению наук и познавательным экспедициям. С незапамятных времен в этих горнострелковых войсках служили сыны Бургляндии — страны замков. Эти войска славились своей отменной надежностью и неизменно поставляли двору курьеров-егерей для передачи тайных депеш и собственноручных посланий. Офицеры-егеря всегда были в свитах полководцев и проконсулов; при каждом верховном штабе рядом с монаршим пурпуром мелькали два-три зеленых мундира приближенных егерей. Им доверялись важнейшие тайны, и зачастую именно они были теми вестовыми, кто доставлял наивысочайший приказ. Их маленький корпус и сейчас, во времена межвластия, удерживал воедино командные высоты, скрепляя их между собой, словно пряжка, и не давая им распасться.

Костар происходил из тех семей, которые с самого начала селились внизу, вокруг замков. Вторые

и третьи сыновья с этих подворий уходили в море или на войну, если не пытались найти счастья в городах, или жили и кормились при монастырях, не принимая духовного сана. Позднее они иногда возвращались к своим родным очагам с покрытыми мхом кровлями, где для них обычно находилось местечко. На них всегда и везде можно было положиться, где бы они ни появлялись, — вольные братья-монахи, поступившие в услужение. Луций и сегодня был растроган, видя, как Костар с напряжением вглядывается в него, стараясь подать ему каждую вещь как раз в тот момент, когда она ему понадобится. Воткнув Луцию фонофор в нагрудный карман и смахнув платком последние следы воображаемого налета с пуговиц и шпор, он отступил на шаг назад и внимательно осмотрел творение своих рук. Луций любил эту тщательность в мелочах; для него она была одним из подспудных признаков незыблемого существования порядка, как бы высшим проявлением инстинктивного усердия. Но еще он чувствовал в этом и любовь к себе. Взгляд его благожелательно задержался на Костаре, когда тот безмолвным поклоном дал ему понять, что все в его облачении безупречно.

* * *

В кают-компания «Голубого авизо» царило приподнятое настроение, характерное для последнего дня морского плавания. Вентиляторы с тонким жужжанием гнали прохладный и ароматизированный воздух, а из аэроионизаторов с треском вылетали искры. Гомон голосов в освещенном утренним солнцем и играющем бликами волн помещении со-

проводился звоном посуды и выкриками стюардов, мелодично оповещавших через подъемник буфетную о принятых заказах.

Поздоровавшись, Луций искал для себя место у окна. Цвет воды был все еще таким, как в открытом море, — густая кобальтовая синь. Вспоротые килем, поднимались на поверхность тугие стеклянные морские струи. В их водовороте мертвенная синь оживала, отливая оттенками узоров мрамора и пышных цветов. Белые пузырьки сверкали, словно жемчужные гроздья в темной оправе.

— Вот где можно понять Гомера, приписывающего морю цвета черного винограда. Тут и более дерзкие сравнения могут показаться оправданными, как вы считаете, командор?

Это спросил маленький человечек, похожий на гнома, сидевший напротив Луция и проследивший за его взглядом. Тело его было уродливо искривлено, а лицо по-стариковски сморщенное, хотя и выражало детское удивление. Человечек был одет небрежно, в серый костюм, на лацкане которого красовались два скрещенных молоточка из ляпис-лазури. В правой руке он держал грифель, кончиком которого водил по строчкам дневника. Перед его тарелкой стоял фонофор академика.

— *Comme d'habitude*¹, — сказал Луций стюарду, выросшему у него за спиной.

— *Comme d'habitude*, — повторил тот, и было слышно, как он пропел вниз в клеть подъемника: — *Le déjeuner pour le Commandant de Geer!*²

¹ Как обычно (*фр.*).

² Завтрак для командора де Геера! (*Фр.*)

После этого Луций повернулся к человечку-гному и подхватил нить разговора:

— Как это получается, господин Горный советник, что море показывает свои красивейшие краски, только испытав чужеродное вторжение, я имею в виду — у побережья, в гротах, в кильватере судна или морского животного?

— Как любимый ученик уважаемого мною мэтра Нигромонтана вы должны знать это даже лучше меня. В его учении о цвете наверняка найдется пассаж о влиянии белых пятен на цветочные обрамления.

Луций мог дать по этому вопросу справку, воспоминания о былых беседах ожили в нем.

— Если я правильно припоминаю, он связывает это влияние с одной из своих любимых идей — королевским приоритетом белого цвета. Чем ближе к нему, тем важнее роль данной краски, равно как и король определяет для знати ранг титула и его смысл. Белый цвет — основа всей гаммы цветов и красок, и в живописи тоже. Ценность жемчужины в том и состоит, что она делает наглядной эту истину. Учитель однажды заговорил об этом, когда мы наблюдали за парой красногрудых снегирей в заснеженном лесу.

— Отлично, командор. Я вижу, вас не мучили сны. Что же касается чужеродного, то можно и так сказать, что материя сравнима с нераскрывшимся плодом и ее красота станет видимой, только когда чужеродное вторжение надрежет ее, как плод, ножом. Лишь шлифовка выявляет истинный рисунок, скрытый в камне. Вам бы надо посмотреть мою коллекцию агатов.

— Если я вас правильно понял, господин Горный советник, красота всегда есть следствие нарушения первоосновы?

— Можно и так сказать, поскольку абсолют лишен красоты. Но тем самым мы вторгаемся в метафизику боли. И лучше не пользуйтесь этим методом; вы сорвете аплодисменты, которые не доставят вам радости. А кроме того, вы приближаетесь к возрасту, когда на происходящее глядят уже с другой стороны, предполагая, что это сама материя сбрасывает с себя покровы при выпавших ей испытаниях. На каждый стук она дает ответ, и тем щедрее, чем он будет тише. Для каждого ключа у нее заготовлена своя сокровищница. К этим ключам относится, как вам известно из учения Нигромонтана о поверхностях, также и свет.

— Это я хорошо помню. Неустанно исследуя и во время своих прогулок тоже, он любил прибегать к понятию «сечение» — так, он считал, что универсум, открывающийся нашему взору, представляет собой всего лишь одно из мириадов сечений, какие только возможны. Мир — как книга, из многочисленных страниц которой мы видим одну ту, что открыта. Он часто также говорил, что чем тоньше сечение, тем шире возможность открытия. Можно достичь такой степени тонкости среза, которая позволит предположить, что поверхность и глубина идентичны, как секунда и вечность. В качестве примера он приводил едва заметное появление разводов на старом стекле, мыльные пузыри и радужное мерцание маслянистой пленки на лужах. Мир нигде не бывает столь красочным, как в тончайших своих оболочках, и это свидетельствует, что богатства его кроются в эфирном пространстве. Я бы, несомненно, больше понял из

всего этого, если бы он посвятил меня в две смежные области — учение о том, что такое Ничто, и учение об эротике, над которыми он работал. Но я был тогда слишком неопытен, а теперь уже известно, что одно из них он зашифровал в главах своего «Начала всякой физики», в то время как другое вообще пропало бесследно.

По лицу Луция пробежала тень. Горный советник, сделавший тем временем несколько пометок в своем дневнике, улыбнулся.

— Вы бы натворили немало глупостей, командор. Учителя, как Нигромонтан, указывают цель, но не путь к ней. В принципе, каждый из них ведет к цели. Впрочем, что касается эротики, я разговаривал с последователями Нигромонтана, знакомыми с его учением, — например, с Фортуню, когда тот навещал меня на Фалунских рудниках.

Он внезапно замолчал и задумался, словно рылся в памяти.

— Это могло быть и в Шнеебергских дудках. Но где бы то ни было, Нигромонтан переносит свое разграничение понятий глубины и поверхности и на любовь тоже. Об этом я расскажу вам поподробнее, когда вы посетите меня в моей «ракушке», чтобы полюбоваться агатами.

При этих словах он осторожно оглянулся по сторонам. Но оба соседа, сидевшие за их столом, увлеченно углубились в свою беседу. Тут как раз подоспел стюард с фруктами, всегда подававшимися перед завтраком.

Горный советник вновь занялся своими записями. Сделав грифелем пометку, он взял левой рукой фонофор с изображенной на нем пальмой.

— Я прервался, прошу прощения. На чем мы остановились, Стаси?

Звонкий девичий голос ответил:

— «...Поднимаясь от mare serenitatis¹ на восток...» «Восток» было последним словом.

— Хорошо, Стаси, я продолжаю. — И, откинувшись на спинку стула, он начал диктовать, и голос его свидетельствовал о полной уверенности, что слова его будут незамедлительно услышаны и записаны: — ...Поднимаясь от mare serenitatis на восток, путник попадает в пределы Кавказа. В предгорьях, вдали от западного склона, на довольно ровной местности возвышается кратерная группа, которую Резерфорд обозначил на своей карте как turres somniorum², а Фортуню произвел ее геодезическую съемку во время третьей разведывательной экспедиции.

Их вид усиливает впечатление пустоты вокруг вымершего пространства. Ни исландские глетчеры, ни полярная ночь не дают такого представления о смерти, об удаленности жизни, как эти башни в безвоздушном пространстве, залитом слепящим светом. Вокруг них — царство одиночества, опора которому — дух, чья власть неудержимо-угрожающе растет, как жажда при переходе через пустыню. Многочисленны случаи, когда паника, а за ней и безумие охватывали не только одинокого исследователя, но и целые караваны. Безмерность пространства столь велика, что сердце исходит тоской по живому человеку, будь он даже заклятым врагом, по любому живому существу — будь то каракатица или чудище.

¹ Море Ясности (*лат.*).

² Башни Грез (*лат.*).

Параллельно с этим фиксируется еще нечто, не менее чуждое рассудку. Начинается осознание взаимосвязей иного рода, чем те, к которым мы привыкли в жизни, а именно архитектоники башен. Это сковывает дух, вызывая внутреннее напряжение и удивление, соперничающие с нарождающимся страхом грядущего уничтожения. Дух как бы мечется между Сциллой и Харибдой, с трудом сохраняя равновесие. С одной стороны — абсолютная пустота, с другой — близость сил, недоступных для органов человеческого восприятия.

Подобное удивление охватило бы нас, если бы мы смогли увидеть жизненный дух в его материальном облики — в виде всемогущего оплота любви и вражды. Растения, животные, люди образовали бы тогда одну гигантскую фигуру, как металлические опилки в силовом поле. Они воссоединились бы, создав причудливо-великолепную, но никому не нужную модель мира. Космический пришелец, которому неведомы любовь и боль, оказавшись в плену таинственных мистерий, нанизал бы с помощью могучего магнита диковинные цепи из этих ничтожно малых существ.

Но здесь не то, здесь все иначе. Нет хитросплетения страстей, путаного и в то же время такого понятного рунического письма жизни. Мир духа проступает в голом виде, в ореоле слепящего света, который не воспринимается человеческим глазом. В этом мире открываются взору суровые и торжественные картины, обнажаются горние планы, сокрытые обычно в выси недоступных для нас святынь.

Излишество постоянно стремится облегчить, расцветить то, что есть мера жизни. Где хаос, там мы

чувствуем себя как дома. Здесь же на передний план выходит упорядоченность системы. Единственный властелин на этой пустой сцене — свет, не преломляемый и не смягчаемый другой средой. Поток его лучей льется с безжалостной прямоотой. Здесь нет перехода красок, нет нежных переливов и оттенков, нет сумраков лесных и морских глубин, смены атмосферных явлений. Кругом пустыня без запахов и звуков и без погодных изменений.

На золотой блеск дюн и макушки холмов ложатся лазоревые тени. Подводные камни и рифы сверкают, как хрусталь. Небо над этим океаном света как туго натянутый шатер из тончайшего черного шелка.

С берегов мертвого моря нагоняют вокруг себя ужас семь отвесных вершин, похожих скорее на пилоны или обелиски, чем на вулканы. Изящные призрачно-зеленые башни, имеющие форму усеченных конусов, поднимаются на огромную высоту. Зубцы их слепят глаза первозданностью венчающих их корон, вид которых будит воспоминания о вечных снегах и ледниковых поясах.

Когда восходит солнце, семь вершин выбрасывают тонкие кроваво-красные языки. Невзирая на долготу дня, огненные языки, как бы торопясь, вылетают с невероятной быстротой, и путника охватывает ужас: а что, если один из них молча лизнет его? Они напоминают острие компасной или часовой стрелки, с помощью которых свободное сознание контролирует себя. Соприкоснувшись с ними, дух его догадывается, что мера и порядок определяются универсумом. И он понимает, что линии, окружности и все простые геометрические фигуры — не что иное, как бездна мудрости. Одновременно его за-